

6. *Талибов Б. Б.* Сравнительная фонетика лезгинских языков. М., 1980. С. 78—80, 179—180, 186—189.
7. *Эдельман Д. И.* Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Фонология. М., 1986.
8. *Эдельман Д. И.* К перспективам реконструкции общеиранского состояния // ВЯ. 1982. № 1. С. 39.
9. *Эдельман Д. И.* К типологии индоевропейских гуттуральных // ИАН СЛЯ. 1973. № 6.
10. *Эдельман Д. И.* Язгулямский язык. М., 1966. С. 14—18.
11. *Захарьин Б. А., Эдельман Д. И.* Язык кашмири. М., 1971. С. 35, 40—41.
12. Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. М., 1981. С. 89—90, 205—206, 268, 462—463.
13. Основы иранского языкознания. Новоиранские языки: Западная группа, прикаспийские языки. М., 1982. С. 517.
14. Основы иранского языкознания. Новоиранские языки: Восточная группа. М., 1987. С. 82—83, 312—313, 342, 391, 404, 600, 676.
15. *Szemerényi O.* Iranian studies. I // KZ. 1959. Bd. 76. Hf. 1—2. P. 65—67.

Янина В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977—1983 гг.). Комментарии и словоуказатель к берестяным грамотам (из раскопок 1951—1983 гг.). М.: Наука, 1986. 312 с.

Рецензируемая книга продолжает публикацию новгородских берестяных грамот в серии «Новгородские грамоты на бересте».

Исследование берестяных грамот, обнаруженных Новгородской археологической экспедицией, позволило по-новому взглянуть на многие моменты социальной, экономической, культурной и лингвистической истории Древней Руси. Рассматриваемый том является в значительной степени итоговим, его резюмирующий характер отразился в исправлениях и дополнениях, относящихся ко всем предшествующим томам. Итоговой является и большая работа А. А. Зализняка «Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения», которой и будет в основном посвящена настоящая рецензия. Конечно, итоги, подведенные этой книгой, не окончательны — новые раскопки приносят новые грамоты, а с ними и новый материал для исторических и лингвистических реконструкций. Однако труд В. Л. Янина и А. А. Зализняка закладывает основы для нового этапа изучения берестяных грамот и с этой точки зрения заслуживает особого внимания. Остановлюсь сначала на издании в целом.

Книга открывается публикацией новгородских (№ 540—614) и старорусской (№ 14) берестяных грамот из раскопок 1977—1983 гг., осуществленной В. Л. Яниным. Публикация снабжена указателем слов, а в приложениях к ней даются надписи на деревянных «счетных» бирках. Одного взгляда на эту публикацию достаточно для того, чтобы увидеть, насколько велик прогресс в чтении и исторической интерпретации берестяных грамот со времени их первой находки.

За истекшие тридцать пять лет накоплен огромный опыт, и это позволяет В. Л. Янину читать и комментировать грамоты почти так, как если бы это была переписка знакомых людей, обстоятельства жизни которых хорошо известны.

Вторая часть книги содержит работы, обобщающие материал всех берестяных грамот, обнаруженных к 1983 г.; она открывается исследованием А. А. Зализняка, подробный разбор которого будет дан ниже. В нем дается описание графико-орфографических систем письменности на бересте, особенностей древненовгородской морфологии и синтаксиса, обнаруживающихся при анализе этой письменности, наблюдения над древненовгородской лексикой. Следующий пространный раздел содержит внесенные А. А. Зализняком «поправки и замечания к чтениям берестяных грамот»: целый ряд грамот заново прочтен, в чтение многих внесены существенные изменения; этот раздел представляет необходимое пособие для всех тех, кто пользуется берестяными грамотами.

Далее в книге даются «Поправки и замечания к чтениям берестяных грамот» В. Л. Янина. И здесь произведен тщательный пересмотр всего накопленного материала, предложены новые чтения и во многих случаях дан новый исторический и филологический комментарий к тексту грамот. Существенные наблюдения содержатся и в исследовании Е. А. Хелимского «О прибалтийско-финском языковом материале в новгородских берестяных грамотах». Завершает книгу составленный А. А. Зализняком «Словоуказатель к берестяным грамотам» (в конденсированном виде он содержит огромную лингвистическую информацию,

извлеченную из текстов на бересте) и составленный В. Л. Янниным «Указатель принадлежности берестяных грамот к топографическим и хронологическим комплексам».

Перейду теперь к исследованию А. А. Зализняка, которое для лингвистов, естественно, представляет наибольший интерес. Это исследование имеет принципиальное значение для изучения древнейшей истории русского языка, поскольку приведенные в нем данные позволяют дать окончательный ответ на ряд вопросов, которые были предметом длительной дискуссии, и вместе с тем ставят такие проблемы, которые ранее не возникали.

Особая важность берестяных грамот для истории русского языка обусловлена тем, что они содержат специфический лингвистический материал, который не может быть получен из других источников. Если раньше для истории русского языка выделяли две группы источников — памятники письменности и диалектологические данные, позволяющие с помощью лингвистической географии реконструировать языковые процессы прошлого, то теперь, видимо, следует говорить о трех группах источников: памятниках книжной письменности, памятниках не книжной письменности (это и есть берестяные грамоты вместе с небольшим эпиграфическим материалом) и диалектологических данных. Осмысление берестяных грамот как источника особого рода существенно меняет при этом и наше представление о двух других источниках: они позволяют понять, насколько опосредованно отражаются факты разговорного языка в памятниках книжного письма и вместе с тем сколь неполны данные современных диалектов в тех случаях, когда те или иные локальные черты оказались предметом конвергентного выравнивания. Поэтому выделение берестяных грамот как особого источника делает необходимым пересмотр под этим углом зрения всей истории русского языка древнейшего периода (XI—XV вв.). Этот пересмотр и проделан в значительной степени в разбираемой работе А. А. Зализняка.

Адекватная оценка берестяных грамот как лингвистического источника оказалась возможной в силу нового подхода к ним, которым руководствовались А. А. Зализняк и В. Л. Янин. Раньше берестяные грамоты рассматривались как письменность в некотором роде второго сорта, как образцы неграмотного письма. В действительности же, как подчеркивает А. А. Зализняк, «они за немногими исключениями вполне грамотны с точки зрения графика-орфографической системы, которой пользовался пишущий...

Берестяные грамоты показывают, что существовала особая, „бытовая“ графическая традиция, отличная от книжной» (с. 217). Такое чтение грамот позволяет рассматривать их не как нагромождение исковерканных языковых форм, а как вполне последовательную (хотя и обладающую особым механизмом, игнорирующим правила книжного письма) запись новгородской живой речи XI—XV вв. Хотя в отдельных грамотах можно наблюдать определенное влияние книжного языка, разговорный язык воспроизведен в них в той непосредственности, которая не идет ни в какое сравнение с его отражением в памятниках книжного письма. Поэтому берестяные грамоты, будучи правильно прочтены, дают принципиально новые сведения о языке древнего Новгорода.

Берестяные грамоты как лингвистический источник уникальны и еще в одном отношении: они дают последовательную хронологическую картину языковых изменений. Если поначалу стратиграфические датировки рассматривались лингвистами с недоверием и они предпочитали оперировать палеографическими критериями, то настоящее исследование отчетливо показало, что изменения в языковых параметрах непосредственно коррелируют со стратиграфическими датировками. Эта корреляция не может иметь случайного характера и поэтому с несомненностью свидетельствует как о достоверности стратиграфии, так и о достоверности вырисовывающейся хронологии языковых процессов. Этот подход и позволил А. А. Зализняку сделать ряд выводов относительно характера и времени историко-языковых процессов в древне-новгородском диалекте.

1. Укажу лишь на некоторые установленные в исследовании факты, в свете которых оказывается возможным исключить противоречивость в трактовке доступных ранее материалов, характеризующую различные построения ранней истории русского языка.

Свидетельства новгородских книжных текстов относительно падения редуцированных поддаются разной интерпретации. Отдельные случаи пропусков слабых редуцированных наблюдаются уже в памятниках конца XI в., и вместе с тем вплоть до XIV в. находятся памятники, в которых существенная часть еров написана правильно (в соответствии с этимологией). Датировка падения слабых редуцированных зависит от того, как понимать эти данные: первые примеры пропуска еров можно рассматривать как раннее свидетельство фонетических процессов, а можно — как след инославянского протографа. Относительно частое «правильное» написание еров в поздних

рукописях можно связывать с устойчивостью книжной традиции, а можно — с незавершенностью самого фонетического процесса. Данные берестяных грамот с несомненностью указывают, «что падение редуцированных в древнеповгородском диалекте наметилось уже в XI в...., но в основном протекало в XII в. и в начале XIII в. практически завершилось» (с. 124). Важно при этом не только то, что к концу XI и началу XII в. относятся отдельные грамоты с отдельными, сравнительно малочисленными пропусками еров, а с первой половины XIII в. нет ни одной грамоты, где число пропущенных еров не превосходило бы числа сохранных. Важно, что распределенные по стратиграфическим датировкам грамоты наглядно показывают плавное нарастание процесса. Конечно, и в отношении берестяных грамот можно полагать, что письменная фиксация несколько запаздывает по сравнению с реальными изменениями, однако постепенность в росте статистических параметров исключает возможность слишком большого разрыва (больше, скажем, 15—20 лет). Таким образом, можно считать, что хронология падения редуцированных для северо-запада восточнославянского ареала твердо установлена, и интерпретация данных книжной письменности должна согласоваться с этими временными рамками.

Материал берестяных грамот является решающим и для вопроса о втором полногласии, как на это указывал в свое время В. М. Марков [4]. А. А. Зализняк показывает, что в позиции перед слабым редуцированным следующего слога сочетания *ТърТ*, *ТълТ*, *ТьТ* последовательно пишутся с гласным по обе стороны плавного (за исключением трех грамот), а в позиции перед гласным полного образования «вставная гласная выступает гораздо менее последовательно, причем частота ее появления заметно убывает от ранних грамот к поздним» (с. 125). Эти данные позволяют утверждать, что вставная гласная развивалась после плавного до падения редуцированных и вне зависимости от него¹.

¹ Фонологически, конечно, эту гласную можно считать избыточной и постулировать фонетическую реализацию [r²], [r³] для фонем / l / и / r / в позиции после еров и перед согласным, ср. подобное решение для случая первого полногласия, объясняющее различные рефлексы гласного после плавного на юге (*корде*) и на севере (*корба*) восточнославянской территории [2]. Вряд ли, однако, это лучшее решение, и в любом случае выбор того или иного фонологического описа-

Можно предполагать далее, что развитие вставной гласной было общевосточнославянским явлением и, соответственно, что обычные в древних восточнославянских рукописях написания с гласной буквой по обеим сторонам плавного фонетически мотивированы, а не возникают в результате контаминации южнославянского написания и восточнославянского произношения. Вместе с тем в древнейший период (до падения редуцированных) эта вставная гласная ни в одном диалекте не является тождественной /ъ/ или /ь/, поскольку в отношении этой гласной никогда не действуют правила распределения сильных и слабых редуцированных: находясь перед слогом со слабым редуцированным, она обычно не проясняется, а если проясняется, то не делает слабым редуцированный предшествующего слога. После падения и прояснения редуцированных имеет, видимо, место процесс, который можно было бы определить как «фонологическое выравнивание»: поскольку редуцированные исчезают из фонологической системы языка, вставные гласные звуки перестают ассоциироваться с ними и воспринимаются либо как ноль звука, либо как гласные полного образования. То или иное восприятие зависело, надо полагать, от фонетических характеристик вставного гласного: в позиции перед слабым редуцированным он приближался к гласным полного образования, в позиции перед сильным редуцированным и гласными полного образования такого сближения не происходило. Это новое восприятие и отразилось в записи берестяных грамот, в которых в первой позиции гласный почти последовательно обозначен как в грамотах XI—XII вв. так и в грамотах позднего периода, тогда как во второй позиции обозначение вставного гласного заметно убывает от ранних грамот к поздним» (с. 125)².

Ничего не дает нам здесь для понимания историко-фонетических процессов. Нет никаких оснований предполагать (как это предлагал В. Н. Сидоров [3]), что плавный в рассматриваемых сочетаниях переходил в слоговой и слоговость плавного сохранялась вплоть до падения редуцированных.

² Как отмечает А. А. Зализняк, «этот процесс очевидным образом сходен с процессом формирования первого полногласия (*оро, оло, ере*). И в том и в другом случае энететическая гласная сходна с гласной, стоящей перед *р, л*, однако фонологически ей не тождественна (по крайней мере, на начальном этапе развития)» (с. 125). Таким образом, для северной восточнославянской зоны можно предполагать общее развитие как для

Еще более важным для ранней истории восточнославянских диалектов представляется вывод А. А. Зализняка об отсутствии эффектов второй палатализации в древненовгородском говоре. Эти выводы совпадают здесь с заключениями, к которым пришла С. М. Глушкина [4], анализируя материалы современных новгородско-псковских говоров (ср. еще [5]). Данные берестяных грамот позволяют вместе с тем однозначно утверждать, что речь идет не о непоследовательном (или сравнительно позднем) прохождении второй палатализации на северо-западе восточнославянской территории, но о полном отсутствии этого явления как фонетического процесса в истории данного диалекта. Формы с эффектами второй палатализации в новгородской письменности (летописях, договорных грамотах и т. д.), равно как и в современных новгородско-псковских диалектах, должны быть целиком отнесены на счет влияния книжной традиции и междиалектного смешения, относящегося к достаточно позднему времени. Вместе с тем А. А. Зализняк показывает, что третья палатализация (по крайней мере, для *k) в древненовгородском диалекте осуществлялась (с. 118). (С. М. Глушкина [4, с. 38—40] предполагала, что в новгородско-псковском ареале могла отсутствовать и третья палатализация)³. Выявленные А. А. Зализняком факты «являются сильнейшим аргументом в пользу того, что третья палатализация старше второй» (с. 119). По существу,

новгородские данные однозначно решают вопрос об относительной хронологии указанных процессов и могут служить дополнительным свидетельством в пользу того построения славянской исторической фонетики, которое недавно было предложено Г. Лантом [6], ср. еще [7]⁴.

Материал берестяных грамот позволяет с достаточной определенностью датировать и процесс перехода $\bar{b} > u$. В отличие от книжной письменности берестяные грамоты отражают фонетические процессы, происходящие в живом языке, непосредственно и без существенных задержек. За исключением одной грамоты (№ 219) рубежа XII и XIII вв. все грамоты, характеризующиеся смешением \bar{b} и u , не старше второй половины XIII в. В трех четвертях грамот, знающих смешение \bar{b} с u , это смешение «затрагивает только позицию в конце слова и перед мягкой согласной (или j), тогда как перед твердой согласной находится написание \bar{b} или e » (с. 108). Эта позиционная обусловленность не оставляет сомнения в том, что смешение букв \bar{b} и u фонетически мотивировано и что мотивирующий его процесс перехода $\bar{b} > u$ имеет место не ранее XIII в. (после падения редуцированных). Этот процесс, видимо, можно рассматривать как одно из следствий той перестройки вокалической системы, которая происходит в результате падения и прояснения редуцированных⁵.

2. Принципиальная повизна выводов, полученных при анализе берестяных грамот, выразительно подчеркивает размеры нашего незнания реального диалектного материала древнерусской эпохи, поскольку этот материал извлекается из памятников книжного характера. Это незнание обусловлено в конечном счете

сочетаний *or, *ol, *er, *el, так и для сочетаний *ьr, *ьl, *ьr, *ьl — отождествление вставного гласного (после плавного) с гласным, предшествующим плавному. В случае первого полногласия это развитие, видимо, начинается раньше и распространяется на всю великорусскую территорию; в случае второго полногласия мы имеем дело с относительно более поздним процессом, с инновацией, которая за пределы собственно северо-западного ареала распространиться не успевает.

³ Что касается перехода $e > z$ в условиях третьей палатализации, то берестяные грамоты практически не дают здесь никакого материала (отсутствуют соответствующие примеры). Что касается x , то здесь, как можно полагать [6, с. 35—37], третья палатализация никогда не имела места. Поэтому формы типа *въгемо, воги* и т. д., встречающиеся в берестяных грамотах (с. 116), к вопросу о том, проходила ли третья палатализация в древненовгородском диалекте, отношения не имеют.

⁴ Новая попытка синхронизировать вторую и третью палатализации и объяснить особенности новгородско-псковского диалекта поздним прохождением в нем монофтонгизации дифтонгов [8] не представляет достаточно убедительной, поскольку при этом не учитывается тождество рефлексов второй палатализации и *tj, *d̄j (см. ниже).

⁵ В работах Л. Л. Касаткина высказывается предположение, что переход \bar{b} в u обусловлен ассимилирующим воздействием гласного последующего слога [9, 10]. Эта объяснение очень привлекательно в том отношении, что ставит переход \bar{b} в u в один ряд с другими восточнославянскими фонетическими процессами [11], однако оно предполагает, что этот процесс имел место до падения редуцированных, что противоречит свидетельству берестяных грамот.

тем, что писцы книжных текстов (т. е. писцы, прошедшие специальное профессиональное обучение) отнюдь не стремились к передаче своей живой речи [12]. Напротив, в тех случаях, когда диалектные формы были противопоставлены нормативным элементам книжного языка и письма, книжные писцы старательно избегали их употребления, рассматривая, очевидно, такое употребление как ош и б к у (об этом можно судить по передкам в древних рукописях исправлениям). Нормы книжного письма выдерживались благодаря правилам, которые позволяли писцу построить книжную форму, исходя из форм его диалекта. Правила могли основываться как на фонетической, так и на морфологической информации [13]. Можно полагать, что именно правила и определяли область нормативного: там, где нельзя было сформулировать четкого общего правила, не было и нормы, т. е. допустимой оказывалась вариантность специально книжных (генетически инославянских или архаических) и диалектных форм. Эту допустимую вариантность следует отличать от ошибок: ошибки возникают лишь в области нормативного и связаны с тем, что писец по тем или иным причинам не сумел воспользоваться нужным в данном случае правилом. Очевидно, что число ошибок определенным образом соотносится со сложностью правила: чем проще правило, тем менее вероятна ошибка.

К наиболее простым правилам относятся, видимо, такие, которые требуют однозначной замены одного морфологического показателя (некнижного) другим (книжным). В современном русском языке к правилам такого рода относится указание о правописании окончаний прилагательных род. ед. муж. и ср. рода — слышится /ova/, но пишется -ого. Это правило не вызывает обычно особых трудностей даже при достаточно низком уровне грамотности; причина, по-видимому, в простоте самого механизма морфологического пересчета. Можно предположить, что то, что просто для нас, не составляло большой сложности и для наших далеких предков — с морфологическим пересчетом они могли справляться безупречно.

Именно простота морфологического пересчета и позволяла, надо думать, новгородским писцам избавляться в книжных текстах от морфологических особенностей древненовгородского диалекта. Исследование А. А. Зализняка показало, насколько основательно выполнялась эта работа. Как оказывается, морфологическая система древненовгородского диалекта кардинальным образом отличалась от морфологической системы книжных текстов. А. А. Зализняк так резюми-

рует эти особенности древненовгородской морфологии:

«1. Окончание *-e* в И. ед. муж. (но не В. ед.!) имен *o*-склонения с твердой основой. Это окончание представлено как у существительных, так и в нечленимых формах прилагательных и причастий (в частности, перфектного причастия на *-л*).

2. Окончание *-ѣ* в Р. ед. *a*-склонения при твердой основе (а не только при мягкой, как в других восточнославянских диалектах).

3. Окончание *-ѣ* в И. В. мн. *a*-склонения при твердой основе (а не только при мягкой).

4. Отсутствие *-ть* в 3 ед. и 3 мн. презенса...

5. Окончание *-ои* в Д. ед. *o*-склонения у наименований лиц. Эта особенность ограничена в основном ранним периодом (XI—XII/XIII).

6. Окончание *-ѣ* при мягкой основе (а не только при твердой) в Д. М. ед. *a*-склонения и в М. ед. *o*-склонения» (с. 127—128).

Очевидно, что эта совокупность особенностей дает возможность говорить о древненовгородской морфологии как о самостоятельной системе как в рамках восточнославянского, так и в рамках общеславянского диалектного многообразия. Ряд черт этой системы явно имеет архаический характер, прежде всего им. ед. на *-e* (ср. [14]). Вместе с тем в языковом сознании эпохи эти черты выступают, видимо, как признаки не-престижной диалектной речи, недопустимые в тексте, претендующем на какую-либо культурную значимость, а в официальных документах устраняемые с тем большей последовательностью, чем более официальный статус имеет текст.

А. А. Зализняк разделяет все берестяные грамоты на две основные тематические группы: бытовые грамоты (частные письма, реестры долгов или вещей, челобитные) и грамоты небытовые (официальные документы типа завещаний, рядных и расписок, учебные и литературные, церковные). Обнаруживается, что грамоты этих двух типов существенно различаются своей морфологией. Так, в небытовых грамотах в им. ед. окончание *-ѣ* безусловно преобладает во все периоды, тогда как в бытовых грамотах в ранний период в почти исключительном употреблении встречается *-e* (в последующие периоды окончание *-e* постепенно теснится окончанием *-ѣ*). Отсюда следует, что употребление или неупотребление диалектных морфологических форм непосредственно связывалось с установкой пишущего: создание небытового текста требовало применения

правил, позволяющих избавиться от специфически диалектных элементов.

В силу того что данная установка была нормативной, в книжных текстах специфически диалектные элементы могут появляться лишь в качестве окказиональных ошибок. Реконструкция реальной картины по этим отрывочным данным крайне сложна, иногда просто невозможна, причем зависимость ошибок от характера применяемых правил может приводить к такому их неравномерному распределению, которое создает видимость результатов своеобразного исторического процесса; в последнем случае реконструкция как раз и может следовать за этой обманчивой видимостью. Так, в частности, отдельные примеры им. ед. на *-e* в летописях и пергаментных грамотах были хорошо известны с конца прошлого века. Чаще всего эти примеры представляли собой имена собственные — видимо, по той причине, что собственные имена вообще сохраняют определенную независимость по отношению к орфографическим преобразованиям и поэтому могут являться в книжных текстах в своей разговорной форме⁶. Основываясь на этом факте, А. А. Шахматов, в других работах, впрочем, предлагавший иное, фонетическое, объяснение, считает возможным (как и ряд других исследователей) «выводить окончание *-e* в именительном единственном... из формы звательного единственного» [16, с. 50].⁷ Этот процесс, соглас-

⁶ Ср. устойчивое сохранение полногласия в собственных именах в древнейших летописных кодексах (*Володимерь, Всеволодь* и т. д.) [15]. Апеллятивная специфика этих имен исключает их из сферы действия «книжньющих» преобразований (положение отчасти меняется после второго южнославянского влияния).

⁷ Неправомерность разбираемой интерпретации не означает, конечно, что формы им. ед. на *-e* не тождественны этимологически формам вокатива. Неправомерно лишь предположение, что рассматриваемые формы являются инновацией, спроецированной звательной формой. Представляется убедительной точка зрения Вяч. Вс. Иванова, согласно которой им. ед. на *-e* восходит к индоевропейской форме *casus indefinitus*; к этой же форме восходит и славянский вокатив [14, с. 330—331]. Эта точка зрения предполагает, что в том праславянском диалекте, который лежит в основе древнеовгородского, произошло перераспределение функций падежных форм, при котором форма на *-e* стала употребляться во всех значениях им. падежа. Не обсуждая здесь гипотезы о фонетическом генезисе форм на *-e* (см. [17, 18]), ср. замечания по этому поводу у А. А. Зализняка (с. 134).

но данной точке зрения, имеет место прежде всего в собственных именах и является полным аналогом употреблению личных имен типа *Павло, Александро*, которые А. А. Шахматов также считает звательными формами, в функциях им. падежа [16, с. 49—50]. На имена нарицательные, прилагательные и причастия этот процесс распространяется вторичным образом, «когда именительный падеж стал употребляться в значении звательного» [16, с. 367]. Материал берестяных грамот не согласуется с подобной интерпретацией⁷: им. ед. на *-e* явно выступает как архаическая черта, которая «несомненно существовала уже в дописьменной эпоху» (с. 134) и отнюдь не была специально связана с собственными именами. Эта связь, которая подсказала Шахматову его интерпретацию, была обусловлена не собственно языковыми процессами, а условиями книжного письма.

Не менее обманчивую картину создают условия книжного письма и для процесса падения редуцированных, и эта обманчивость также рельефно оттеняется показаниями берестяных грамот. А. А. Шахматов считал, что «памятники XI—XII века дают основание утверждать, что в процессе падения полукратких гласных замечалась следующая последовательность: сначала исчезли полукраткие в начальном слоге слова; потом они исчезли в другом положении, т. е. в срединных и конечных слогах», причем «возможно, что прежде всего исчезли глухие в начальном слоге перед следующим ударяемым слогом» [19]. В результате дальнейших наблюдений пад книжными памятниками этот вывод осложнился дополнителным предположением, что ранняя утрата редуцированных не имела места в тех случаях, когда «редуцируемые в слабом положении соотносятся с редуцированными в сильном положении в составе той же морфемы» [20], ср. [24], т. е. фонетический процесс нарушался под воздействием морфологического фактора. Построенная таким образом картина соответствует показаниям памятников книжного письма, но игнорирует то обстоятельство, что между разговорным языком и его отражением в книжной письменности стоят правила, которыми руководствовался книжный писец в своей профессиональной деятельности. Если же предположить, что книжный писец писал еры не по слуху, а по правилам, то становится очевидным, что «частотность написаний без букв *ъ* и *ь* в старейших текстах убывает в последовательности, обратной возможности запоминания (усвоения) „правила“» [22, с. 402]. Действительно, писцу «легче всего было усвоить „правило“ написания букв *ъ* и *ь* в конце словоформ, оканчивавшихся

(после падения редуцированных) согласными; далее — в конце предлогов, а также приставок; сложнее — в правописании суффиксов, особенно — менее регулярных; наконец, наиболее сложным должно было быть усвоение написаний корней... Совершенно очевидно, что последовательность осуществления фонетического процесса не может соответствовать указанной градации, так как должна зависеть от фонетических условий, как правило, не связанных с тем, в какой или какой-либо морфеме находится гласный» [22, с. 402].

Берестяные грамоты дают иную картину, нежели книжные тексты. В грамотах до середины XII в. (включительно) редуцированный в начале тактовой группы встречается 27 раз, нет ни одного случая пропуска редуцированного и лишь в одном случае имеется «избыточное» употребление ера между согласными, являющимися рефлексом *СС (*кърините*, № 160, сер. XII в.). В тех же грамотах (следует А. А. Зализняку, с. 123, мы рассматриваем здесь грамоты 246, 247, 527, 526, 562, 566 XI в., 109, 238, 120, 613 рубежа XI/XII в., 424, 605, 119, 241, 336, 429, 84, 335, 421, Свинц., Ст. Русса 7, 8, 12 первой пол. XII в. и 422, 105, 160, 524, 235 сер. XII в.) в середине тактовой группы на 79 случаев отражения редуцированного на письме встретилось 17 случаев пропуска соответствующей буквы или ее избыточного написания. Таким образом, в грамотах XI — сер. XII в. в начальной позиции падение редуцированных отражается в 3,5% случаев, тогда как в нена начальной позиции — в 17,7% случаев; при всей ограниченности данных это различие статистически значимо.

Следующий период показывает совершенно иную картину. В грамотах второй пол. XII — нач. XIII в. (рассматривались следующие грамоты: 509, 516, 78, 234, 155, 550 второй пол. XII в., 9, 163, 590, 87, 603 конца XII в., 227, 219, 439, 531, 601, 332 вж., бл. 436, 502, 609, 222, 334, 510, 600 рубежа XII/XIII в. и нач. XIII в., в дополнение среди грамот конца XII в. рассматривалась и дарственная Варлаама Хулынского) в начальной позиции на 35 случаев отражения редуцированного на письме фиксируется 18 случаев его пропуска или употребления избыточной буквы; для нена начальной позиции соответствующие цифры будут 80 и 39. Таким образом, в грамотах второй пол. XII — нач. XIII в. в начальной позиции падение редуцированных отражается в 34% случаев, тогда как в нена начальной — в 32,8% случаев; различие здесь статистически незначимо.

Как можно видеть, материал берестяных грамот позволяет сделать вывод о

том, что процесс падения редуцированных сначала развивается в печальных слогах, а затем распространяется и на начальный слог тактовой группы. Этот вывод прямо противоположен тому, который делался на основании анализа клипных текстов, не учитывавшего их специфики; он вместе с тем хорошо согласуется с типологически вероятным развитием подобных процессов (ср. хотя бы историю «е тише» в развитии французского языка)⁸. И в данном случае, как можно видеть, показания текстов, написанных профессиональными писцами,

⁸ В качестве единицы при подсчетах я выбрал тактовую группу, поскольку падение редуцированных как фонетический процесс должно было проходить в рамках именно этой фонетической единицы. Этот выбор определенным образом влияет на классификацию примеров. Так, при избранном подходе форма *къ мѣ* будет рассматриваться в числе примеров на редуцированный, выпавший в нена начальной позиции, а форма *къ мѣиѣ* — в числе примеров на сохраненный в нена начальной позиции редуцированный. В то же время я не включал в подсчет редуцированных в начальной позиции тактовые группы с редуцированным в предлоге (типа *кѣ немюу*), поскольку в предлоге, как и в конце слова, соответствующая буква могла, видимо, писаться автоматически (возможно, как разделительный знак). Однако, хотя при иных решениях конкретные цифры меняются, общий вывод остается тем же самым. Так, если в качестве единицы брать не тактовые группы, а «слова» (более традиционный подход), оказывается, что в грамотах XI — сер. XII в. падение редуцированных отражается в начальной позиции в 2,3% случаев, в нена начальной — в 21% случаев, в грамотах же второй пол. XII — нач. XIII в. оно отражается в начальной позиции в 35,8% случаев, в нена начальной — в 28,4% случаев. Если включать в подсчет тактовые группы с редуцированным в предлоге, то для первого периода соответствующие показатели будут 1,5% и 17%, для второго — 23% и 33,3%. Замечу, между прочим, что диспропорция последних двух показателей (23% и 33,3%) говорит о том, что написание *ѣ* (или *о*) в предлогах было и в берестяных грамотах в значительной степени орфографической условностью. Если бы их написание определялось таким же механизмом, как и написание соответствующих букв в других случаях, включение в подсчет тактовых групп с редуцированным в предлоге не должно было бы — в условиях завершившегося процесса падения редуцированных — влиять на соотношение разбираемых параметров.

отражают процессы, происходившие в живом языке, лишь очень опосредствованным образом и могут почти полностью затуманить картину реального диалектного разнообразия.

3. Итак, берестяные грамоты отчетливо показывают, что картина относительной однородности восточнославянских диалектов, восстанавливаемая по данным книжных текстов, возникает в значительной степени благодаря условиям книжного письма. Анализ берестяных грамот, сделанный А. А. Зализняком, позволяет увидеть, насколько существенны те особенности, которые были присущи древненовгородскому диалекту. Эти особенности ставят перед историком языка целый ряд проблем, поскольку обнаруживают неадекватность традиционной картины восточнославянского языкового развития и вместе с тем требуют переосмысления давно известных фактов и разработки новых схем междиалектного взаимодействия, связывающих праславянское языковое состояние с диалектным разнообразием современных славянских говоров.

Одна из возникающих здесь проблем имеет методологический характер и относится к работе с письменными книжными источниками. Данные берестяных грамот позволяют увидеть, как работает «фильтр» профессиональных навыков книжных писцов, какие факты диалектного языка через этот фильтр проходят и какой вид они при этом приобретают. Таким образом, для Новгорода мы имеем как бы два члена пропорции: диалектный язык и его отражение в книжных памятниках. Предполагая действие аналогичного фильтра и на других территориях и исходя из полученной для Новгорода пропорции, можно попытаться построить методику, позволяющую по данным книжных текстов других ареалов составить представление об отражающемся в них явлении диалектного языка. Вместе с тем вскрытая рецензируемым исследователем специфика древненовгородского диалекта подчеркивает существенную неполноту наших знаний о других восточнославянских диалектах, наличие обширных белых пятен в общей картине развития славянских языков в древнейшую эпоху. Отличия древненовгородского говора от других славянских диалектов настолько велики, что под сомнением оказываются самые параметры, на основе которых членится славянская диалектная область. Неясно, например, каково соотношение сходных и несходных черт при такой попарной группировке, как, например, древнесловенские диалекты и словачские диалекты, словацкий и лехитские языки, лехитские языки и древненовгородский диалект и т. д., причем сложность картины возрастает, если пе-

рейти (как это, видимо, целесообразно при сравнительно-исторических сопоставлениях, ср. [23, с. 54—55]) к более дробному диалектному членению. Очевидно, что старая схема (отдельные исследователи, впрочем, продолжают придерживаться ее или тех или иных ее модификаций и по сей день), согласно которой праславянский распадался на три диалекта, которые в своем последующем развитии и дали соответственно южнославянские, западнославянские и восточнославянские языки, не согласуется с особым положением древненовгородского, так что специфика этого говора может служить еще одним сильнейшим аргументом против традиционной концепции славянского диалектного развития. Отказ от старых концепций (у такого отказа тоже есть своя достаточно давняя традиция), однако, никаких проблем не решает, а лишь указывает на необходимость принципиально нового построения, требующего нового осмысления разнообразия фонетических, морфологических, акцентологических и лексических изоглосс на славянской территории.

Анализируя берестяные грамоты, А. А. Зализняк вскрыл в них ряд черт, не замеченных прежде в силу неправильного чтения текста, которые объединяют древненовгородский диалект с лехитскими (или вообще западнославянскими) языками. Сюда относятся рефлексy **kv*, **gv* (корни *кѣлѣ*, *кѣлѣт*... *зѣздѣ*... *зѣврстѣ* в отличие от южного восточнославянского *цѣлѣ*... *цѣлѣт*... *зѣздѣ* — с. 112—113) и рефлексy начального **tl* (*кляць* в отличие от южного восточнославянского *лещь* — с. 119—122). В последнем случае данные берестяных грамот явно должны быть соотнесены с показателями псковских говоров, обнаруживающих /kl/, /gl/ на месте срединных **tl*, **dl* (в соответствии с /tl/, /dl/ [по говорам /gl/] западнославянских языков). Эти факты особенно значимы, поскольку в целом ряде отношений псковские говоры могут сохранять (по крайней мере, в реликтовом состоянии) черты древненовгородского диалекта⁹. С. Л. Николаев недавно показал (устное сообщение), что сохраняющиеся в псковских говорах реликтовые формы

⁹ См. об отсутствии рефлексов второй палатализации [4]. О формах им. ед. на -e и о формах 3-го лица презенса без -*ть* см. [24, 25], ср. еще [26]. Оставляю здесь без внимания вопрос о возможной гетерогенности древненовгородского диалекта; в любом случае правдоподобно, что псковские говоры консервируют ряд черт древненовгородского диалекта (или одного из его вариантов), которые в ходе последующего развития на собственно новгородской территории были утрачены.

типа *наслѣгать* «наследить», *рогати* «рожать», *завѣкать* «завещать», *сустрекаѣи* «встречать» и т. п. предполагают [k̄, ḡ] (палатальные смычные) в качестве рефлексов *tj, *dj и что, таким образом, рефлексы *tj, *dj в древнепсковском (а также, видимо, и в древненовгородском) совпадают с рефлексами заднеязычных перед монофтонгизированными дифтонгами (рефлексами «второй палатализации»); это совпадение также является чертой, объединяющей восточнославянский северо-запад с западнославянскими языками¹⁰. В качестве такого же рода черты может рассматриваться, естественно, и отсутствие *-ть* в окончаниях 3-го лица презенса.

Указанные факты побуждают вновь поставить вопрос о связи древненовгородского (а, возможно, и вообще древнего северного восточнославянского) с западнославянскими диалектами (о чем в свое время писал еще Д. К. Зеленин [27]).

¹⁰ Палатальные смычные [k̄, ḡ] выступают как необходимый этап процесса палатализации, как начальная стадия этого процесса, обусловленная аккомодацией заднеязычного согласного и следующего за ним переднего гласного (ср. [6, с. 27]); столь же естественны палатальные смычные и в качестве рефлексов *tj, *dj, представляя собой результат ассимиляции по месту образования. Это позволяет предположить, что в псковских говорах (и, видимо, в древненовгородском) отразился начальный этап того фонетического развития, который дал аффрикаты [с, з] или [č, ž] на месте соответствующих рефлексов в западнославянских языках. Отличие древненовгородского от западнославянских состоит (помимо различий в фонетическом качестве) в том, что в последних рефлексы *tj и второй палатализации совпали с рефлексами третьей палатализации ([č]), и все вместе оказались противопоставленными рефлексам первой палатализации ([č̄]), тогда как в древненовгородском совпавшие рефлексы *tj и второй палатализации ([k̄]) оказались противопоставленными совпавшим в свою очередь рефлексам первой и третьей палатализации ([с]). Это различие в фонетическом развитии можно объяснить как по-разному реализующуюся общую тенденцию к сокращению противопоставленных среднеязычных затворных согласных (от трех к двум); позднейшую реализацию этой же тенденции можно видеть и в мазурень. Замечу, что при такой интерпретации восточнославянское цоканье оказывается системно обусловленным, что, впрочем, не исключает возможности субстратного влияния как сопутствующего фактора (как и в случае с мазуреньем).

Общие реликтовые формы (архаизмы, приобретают в данном случае особое значение; они, видимо, очерчивают периферию большого ареала, который можно было бы обозначить как северную группу общеславянских диалектов [28, с. 70 и сл.]. При этом следует иметь в виду, что набор признаков, по которым северная группа противопоставляется южной, оказывается — сравнительно с диалектным членением известных живых языков, например, болгарского или немецкого — очень ограниченным (ср. [29; 30, с. 190—192]), что подчеркивает значимость древненовгородско-западнославянских изоглос. Число контрастирующих признаков убывает при движении с северо-востока на юго-запад (от Новгорода к Вышеграду), что может указывать на широкие процессы общеславянского междиалектного выравнивания — их интенсивность особенно велика в центре Восточной Европы и ослабевает на ее северо-восточной периферии. Вместе с тем специфические древненовгородские архаизмы предполагают, в принципе, что ряд конвергентных процессов в Восточной Европе имел место уже после того, как на северо-западе восточнославянской территории возникли славянские поселения (образовавшие, таким образом, своего рода изолят, огражденный от этих процессов).

В ряде недавних работ Г. Лант, основываясь на том, что в позднем общеславянском число диалектных различий крайне ограничено, предполагает, что это относительно поздние инновации, возникшие после интенсивного выравнивания славянских диалектов в период между 500 и 750 гг. [30, с. 202—203], ср. [31, с. 66]. Реконструкция древненовгородского диалекта и обнаруживающиеся при этом древние северославянские изоглоссы требуют, как кажется, определенной модификации этой гипотезы. Следует, видимо, думать, что конвергентные процессы проходили на славянской территории с неравномерной интенсивностью, причем север выступал для этих процессов как периферийная зона, в которой их интенсивность ослабевала и могли консервироваться определенные черты старого диалектного единства (ср. о периферийных зонах [23]); соответственно, отдельные изоглоссы (те, которые объединяют восточнославянский северо-запад с западнославянскими языками) имеют для позднего общеславянского не характер инновации, а характер архаизма; последующее членение славянской языковой области определяется сложным синтезом этих архаических черт с теми диалектными инновациями, о которых говорит Г. Лант¹¹.

¹¹ Конвергентные процессы по-разному

Высказанные соображения представляются собой лишь попытку очертить те перспективы, которые открывает исследование А. А. Зализняка перед исторической диалектологией славянских языков. Еще существенные результаты изучения берестяных грамот для исследования восточнославянской диалектной области. В свое время Р. И. Аванесов писал о том, что лингвогеографическое исследование не в состоянии вскрыть «старые диалектные черты, соответствующие старым племенам», поскольку они «не только затемнены последующими процессами, но, можно сказать, почти полностью перекрыты ими и не оставили после себя достаточно ощутимых следов» [32]. Как раз эти следы и отыскиались в берестяных грамотах, причем обнаруживающихся в них черты позволяют по-новому взглянуть и на современные говоры и увидеть в них реликты тех самых явлений, которые характеризовали древненовгородский диалект.

Ранее восточнославянская диалектология имела дело с двумя совокупностями данных. С одной стороны, сравнительная грамматика славянских языков указывала на пучок изоглоссов, отделяющих восточнославянские диалекты от южнославянских и западнославянских; как бы ни трактовались отдельные элементы этого пучка и время развития тех или иных изоглоссов, хронологические границы этих данных не пересекали рубеж X—XI вв. С другой стороны, реконструкция, опирающаяся на современные диалектологические данные, как правило, выявляла лишь изоглоссы, возникающие в XIII—XIV вв., т. е. глубина реконструкции едва достигала рубежа XII—XIII вв. Таким образом, период более чем в два века оказывался практически выпавшим в схемах восточнославянского историко-диалектного развития. Исследование А. А. Зализняка заполняет этот разрыв для северо-запада восточнославянской территории, и этот образец последовательно прослеженного развития может,

отражаться на разных уровнях языка. Конвергенция стирает прежде всего различия фонетического и морфологического характера, тогда как в лексике инновации сравнительно легко могут уживаться с архаизмами, что и приводит к той «мозаичности... внутриславянских изолексов», о которой писал О. Н. Трубачев [31, с. 66]; ср. описание этой мозаичной картины у Н. И. Толстого [23, с. 48—56]. Такой же характер мозаичности, обусловленной сложностью диалектного членения славянской языковой области в период, предшествовавший радикальной нивелировке диалектов, свойствен, видимо, и целому ряду акцентологических изоглоссов.

видимо, иметь принципиальное значение для реконструкции общей картины.

Прежде всего становится очевидным, что существенным моментом развития в XI—XIII вв. были конвергентные процессы. Это ставит под сомнение существование единого правосточнославянского языка, который в результате дивергентного развития дал первоначально отдельные группы восточнославянских диалектов, а затем в результате взаимодействия этих групп и дальнейшей дивергенции — современное разнообразие восточнославянских диалектов. Отличия древненовгородского диалекта от, скажем, древнекиевского оказываются на общеславянском фоне настолько радикальными, что целесообразно, видимо, предположить участие по крайней мере двух исходных диалектов (диалектных групп) в восточнославянском языковом развитии¹². Позднейшие процессы сглаживали различия между двумя исходными диалектами, и это сглаживание ясно отражается в берестяных грамотах (с. 217).

Принципиальная проблема, встающая в этой связи, состоит в том, как из этих двух центров — северного и южного — развилось все многообразие восточнославянских говоров. Социально-исторические параметры этого развития до известной степени выяснены исторической диалектологией восточнославянских языков; обособление диалектных групп так или иначе соотносится с политическим и хозяйственным обособлением отдельных регионов в составе Русской земли [28]. Определению подлежат те языковые компоненты, которые участвовали в образовании отдельных диалектных групп, и самый механизм их взаимодействия. Так, например, если мы примем отсутствие второй палатализации, характерное для древненовгородского диалекта, всему северному восточнославянскому центру, мы должны будем объяснить, каким образом появляются рефлексы второй палатализации в ростово-суздальской диалектной зоне (в корнях; отсутствие чередования заднеязычных со свистящими

¹² Это, конечно, отнюдь не новое решение. Оно предлагалось и ранее вне зависимости от материала берестяных грамот. Основанием были такие изоглоссы, как /γ/ — /g/ и различие/неразличие аффрикаты (цокашь), см. [28, с. 81 сл.]. Из традиционного матерпала сюда же может быть отнесено фонетическое качество второго о (тождество рефлексов с рефлексами *o или *ъ) в полногласных сочетаниях (ср. [33]). Как бы то ни было, материал берестяных грамот имеет кардинальное значение для вопроса о дуцентровости исходного восточнославянского языкового развития.

ми в словозменении может, в принципе, интерпретироваться и как влияние северо-западного диалекта и даже как сохранение архаической черты, присущей восточнославянскому северу). Появляются ли они под влиянием диалектов восточнославянского юга, являются ли они следствием междиалектного смещения на ростово-суздальской территории или же они отражают исконную гетерогенность северной диалектной группы? Все эти возможности могли иметь место; для ряда восточнославянских территорий механика образования исходных диалектных особенностей могла также определяться наложением славянской речи (северного или южного происхождения) на разнородный балтийский субстрат. В любом случае установление двух исходных центров в восточнославянском языковом развитии и реконструкция многочисленных особенностей северной диалектной группы, намеченные в исследовании А. А. Зализняка, ставят перед исторической диалектологией принципиально новые задачи, поскольку принципиально меняются наши представления об исходных компонентах, участвовавших в формировании восточнославянского диалектного разнообразия. Решение этих задач требует сотрудничества лингвистов с археологами, антропологами и историками. Таким образом, разбираемое исследование А. А. Зализняка наряду с трудами В. Л. Янина служит отправным моментом для целого комплекса работ, которым предстоит вскрыть всю сложность лингвистических, культурных, этнических и политических процессов, определивших превращение восточнославянской территории в единую Русскую землю.

Живов В. М.

ЛИТЕРАТУРА

1. Марков В. М. К истории редуцированных гласных в русском языке. Казань, 1964. С. 236.
2. Гард П. К истории восточнославянских гласных среднего подъема // ВЯ. 1974. № 3. С. 114.
3. Сидоров В. Н. Из истории звуков русского языка. М., 1966. С. 16—19.
4. Глушкина С. М. О второй палатализации заднеязычных в русском языке (На материалах северо-западных говоров) // В кн.: Псковские говоры. Т. II. Псков, 1968.
5. Stieber Z. Druga palatalizacja tylnojęzykowych w świetle atlasu dialektów rosyjskich na wschód od Moskwy // RS. 1968. T. XXIX. Cz. 1.
6. Lunt H. G. The progressive palatalization of Common Slavic. Skopje, 1981.

7. Lunt H. G. The progressive palatalization of Early Slavic: Opinions, facts, methods // Folia linguistica historica. 1987. V. 5.
8. Vermeer W. The rise of the North Russian dialect of Common Slavic // Studies in Slavic and general linguistics. 1986. V. 8.
9. Касаткин Л. Л. Русский диалектный консонантизм как источник истории русского языка. М., 1984. С. 32—36.
10. Касаткин Л. Л. Об условиях и времени изменения *ѣ* и *ѣе* в русских говорах // Russian linguistics. 1985. V. 9. № 2—3. P. 339—343.
11. Shevelov G. Y. A historical phonology of the Ukrainian language. Heidelberg, 1979. P. 142.
12. Дурново Н. Славянское правописание X—XII вв. // Slavica. 1933. Ročn. XII. Seš. 1—2. S. 45.
13. Живов В. Правила и произношение в русском церковнославянском правописании XI—XIII века // Russian linguistics. 1984. V. 8. № 3.
14. Иванов Вяч. Вс. Отражение индоевропейского casus indefinitus в древне-новгородском диалекте // Russian linguistics. 1985. V. 9. № 2—3.
15. Hüttl-Folter G. Die *trat/torot*-Lexeme in den altrussischen Chroniken. Wien, 1983. P. 31—33.
16. Шахматов А. А. Историческая морфология русского языка. М., 1957.
17. Шахматов А. А. К истории звуков русского языка // Изв. ОРЯС. 1903. Т. VIII. Кн. 2. С. 318, 323, 334.
18. Шахматов А. А. Исследование о движущихся грамотах XV в. Ч. 1. и II. СПб., 1903. С. 99.
19. Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915. С. 217—218.
20. Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. 2-е изд. М., 1965. С. 100.
21. Фалев И. А. О редуцированных гласных в древнерусском языке // Язык и литература. 1927. Т. II. Вып. 1.
22. Хабургаев Г. А. Еще раз о хронологии падения редуцированных в древнерусском языке (в связи с вопросом о соотношении книжно-письменной и диалектной речи) // Лингвистическая география, диалектология и история языка. Ереван, 1976.
23. Толстой Н. И. О соотношении центрального и периферийного ареалов в современной Славии // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1977.
24. Каринский Н. М. Очерки по истории псковской письменности и языка. 1. Исследование языка Псковского Шестоднева 1374 г. СПб., 1916. С. 38—39.
25. Соболевский А. И. Два слова о псков-

- ском говоре // РФВ. 1916. Т. 75. № 1. С. 139—140.
26. Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров. По материалам лингвистической географии / Под ред. Орловой В. Г. М., 1970. С. 124—130.
27. Зеленин Д. К. О происхождении северновеликорусов Великого Новгорода // Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР. 1954. № 6.
28. Хабургаев Г. А. Становление русского языка. М., 1980.
29. Lunt H. G. On writing the history of the language of Old Rus' // Semiosis. Semiotics and the history of culture. In honorem Georgii Lotman. Ann Arbor, 1984. P. 308—310.
30. Lunt H. G. Slavs, Common Slavic, and Old Church Slavonic // Litterae slavicae Medii aevi. Franciscus Venceslao Mares Sexagenario oblatae. München, 1985.
31. Трубочев О. Н. Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян // ВЯ. 1974. № 6.
32. Аванесов Р. И. Вопросы образования русского языка в его говорах // Вестник МГУ. 1947. № 9. С. 124.
33. Живов В. Еще раз о правописании *ц* и *ч* в древних новгородских рукописях // Russian linguistics. 1986. V. 10. № 3. P. 305.

Baker R. The development of the Komi case system. A dialectological investigation. Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura. 1985. X + 266 p. (Mémoires de la Société Finno-ougrienne. T. 189).

В зарубежном финно-угроведении последних лет Робин Бейкер известен как автор содержательных работ.

Ряд исследований Р. Бейкера посвящен коми языку, входящему в пермскую группу финно-угорских языков. В рецензируемой работе прослеживается развитие системы склонения коми языка; фактически работа представляет собой расширенный вариант докторской диссертации «Innovation and variation in the case system of contemporary Komi dialects», защищенной автором в 1984 г. при Ист-Английском университете. В отличие от диссертации, описание в публикации дано на более широком фоне языковых особенностей уральской языковой семьи.

Обширному исследованию (276 с.) предпослано введение (с. 2—18), в котором приводится необходимая информация об «экзотической» коми стране, ее народе и истории.

Основная часть работы делится на три главы: «Коми язык» (с. 19—115), «Система склонения» (с. 116—174), «Иновации и вариации» (с. 175—240). К работе приложены схематические (диалектологические) карты коми языка, а также карты ареалов соседних языков.

Восходящие к пермскому праязыку, удмуртский и коми языки по сей день сохраняют значительную близость: общими являются 80% лексики, много общего в грамматических системах. Автор прав, указывая, что тюрко-татарскому влиянию подвергся прежде всего удмуртский язык, в коми же языке более ощутимо влияние русского языка. Фонетико-фонологическая система пермских языков в целом

сохраняет архаичные черты; так, например, сохранялось различие между *s*, *š* и *š*, восходящее к уральскому праязыку. Пермские языки относятся к старописьменным языкам. Древнепермские тексты XIV в. — большое подспорье при изучении истории коми языка. В нижневолжском краю в то время господствовал еще чистый *l*-овый диалект. Переход *l* > *v* произошел явно не ранее XVII в. Порядок слов в коми языке относительно свободен. По мнению Р. Бейкера, исходным порядком является SVO, который в древних текстах чередуется с порядком SOV, в чем Р. Бейкер усматривает влияние оригинальных текстов. Отметим, что исходным типом для уральских языков обычно все же считается порядок SOV [1, 2].

Использование предлогов агглютинирующим финно-угорским языкам несвойственно. Их появление в коми языке объясняется влиянием русского языка, например, *munim t'serez mel'uxino* «(мы) пошли через Мелюхино» (с. 29). Слова же заимствовались и из соседних родственных языков (обско-угорских, ненецкого, вепского, марийского). Заимствование союзов из русского языка привело к формированию паратакиса и гипотакиса, характерных для индоевропейских языков (и до сих пор, впрочем, отсутствующих в самодийских языках). По мнению Р. Бейкера, влияние русского языка на разных уровнях наиболее ощутимо в коми-язвинском наречии. Но есть и другие диалекты и наречия, в которых оно не слабее, чем в коми-язвинском.

Несмотря на некоторые изменения, ко-